

Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем словами. Поэтому после утешения в личной беседе я решил написать тебе, отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий, чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными, или незначительными и легче переносил их.

*Петр Абеляр. Предисловие к Historia Calamitatum
(«Истории моих бедствий»)*

Однажды ты испустил дух — все идет раз и навсегда заведенным порядком, даже в самой гуще хаоса. Изначально это и был только хаос — это был поток, который обволакивал меня и который я вбирал в себя сквозь жабры. В нижних слоях, там, где луна лила свой мерный мутный свет, он был однороден и животворящ; в верхних — бушевали раздор и распри. Во всем я с ходу различал противоречие, противоположность и между мнимым и реальным — иронию, парадокс. Я был своим собственным злейшим врагом. Ни разу в жизни я не захотел сделать то, чего с тем же успехом мог и не делать. Даже ребенком, когда я ни в чем не нуждался, я хотел умереть: я хотел капитулировать, потому что не видел никакого смысла в борьбе. Я чувствовал, что ничего нельзя ни доказать, ни обосновать, ни прибавить, ни убавить, продолжая влачить существование, на которое я не напрашивался. Кругом было сплошь одно убожество, а не убожество — так маразматика. Особенно преуспевающие. Преуспевающие нагоняли на меня такую тоску, что хоть волком вой. Я был сострадателен до безобразия, но делало меня таким отнюдь не сострадание. Это было чисто отрицательное качество, слабость, расцветавшая при одном только виде человеческого горя. Я никогда никому не помогал в расчете на воздаяние — я помогал, потому что не мог иначе. Мне представлялось нелепым желать изменить положение дел: я был убежден, что ничего нельзя изменить иначе, как изменив сердце, но в чьей власти изменять сердца

человеков? Время от времени кто-нибудь из моих однокашников ударялся в религию — от этого мне и вовсе блевать хотелось. Сам я не более нуждался в Боге, чем Он во мне, и пусть только один такой явится, часто твердил я себе, — я встречу Его без церемоний: подойду и плюну Ему в лицо.

Самое досадное, что с первого взгляда меня обычно принимали за человека доброго, отзывчивого, щедрого, надежного, верного. Может, я и обладал означенными добродетелями, но если и так, то лишь в силу полнейшего ко всему безразличия: я мог позволить себе быть порядочным, великодушным, верным и т. п., потому как начисто лишен был чувства зависти. Зависть — единственный порок, жертвой которого я не был. Я в жизни никому и ничему не позавидовал. Наоборот, я только и делал, что всех жалел — всех и вся.

Должно быть, я с самого начала приучил себя ничего не хотеть слишком сильно. С самого начала я был независим — в ложном смысле слова. Я ни в ком не нуждался, потому что желал быть свободным, свободным поступать и давать исключительно по велению собственных прихотей. Стоило мне почувствовать, что от меня чего-то ждут или домогаются, и я тут же становился на дыбы. Такова была линия поведения, которой требовала моя независимость. Иными словами, я был развращен, развращен изначально. Как будто с молоком матери я впитал некий яд, и, хотя меня рано отняли от груди, яд этот и по сей день циркулирует в моем организме. Даже когда она перестала меня кормить, я вроде бы никак не отреагировал; обычно младенцы бунтуют или, по крайней мере, покочевряжатся для порядка, ну а я хоть бы хны, — я был философом уже с пеленок. Я был против жизни — из принципа. Какого принципа? Принципа никчемности. Все вокруг меня боролись. Сам же я ни разу и пальцем не пошевелил. А если когда и прилагал усилия, то разве

что для видимости — чтобы кому-то там угодить, но, по сути, мне это было раз плюнуть. Если же кто попытается убедить меня, что иначе и быть не могло, я все равно буду все отрицать, потому как родился я с одной упрямой жилкой внутри, и никуда от этого не денешься. Позже, когда подрос, я слышал, что было чертовски хлопотно извлекать меня из утробы. И неудивительно. Чего дергаться? Зачем вылезать из теплого, уютного местечка, укромного пристанища, где все достается тебе даром? Самое первое мое воспоминание — о стуже, о льдинах и снеге в сточной канаве, о промозглой сырости зеленых кухонных стен. Что заставляет людей жить в чужеродных климатических условиях, в *умеренных*, как их по ошибке называют, широтах? Да то, что люди по природе своей идиоты, по природе своей лодыри, по природе своей трусы. Пока мне не минуло, наверное, лет десять, я и знать не знал, что где-то есть «теплые» страны, края, где не надо ни потеть, зарабатывая на жизнь, ни дрожать до посинения, упорно делая вид, что холод тонизирует и бодрит. Где холод, там и люди такие, что готовы вкалывать до последнего издыхания; когда же они производят потомство, они и детенышам вдалбливают евангелие работы, которое, в сущности, есть не что иное, как доктрина инерции. Вся моя родня происхождения сугубо нордического, читай: *идиоты*. Каждая ложная идея, которая когда-либо получала распространение, исходила от них. Взять хотя бы доктрину чистоты, а уж о праведности и говорить нечего. Они были болезненно чистоплотны. Но духовно они смердели. Хоть бы раз удосужились они приоткрыть дверь, которая ведет к душе; хоть бы раз отважились сломя голову ринуться в неизвестность. После обеда тарелки тщательно мылись и ставились в буфет; прочитанная газета аккуратно складывалась и убиралась на полку; белье после стирки утюжилось, утрамбовывалось и распахивалось по ящикам. Все было рассчитано

на завтра, но завтра все не наступало. Настоящее служило лишь мостом, и на этом мосту они и по сей день стенают, как стенает весь мир, и ни один идиот не додумается взорвать этот мост.

В своем ожесточении я часто ищу оснований осуждать их, а лучше бы — самого себя. Потому как я и сам недалеко от них ушел. Довольно долго я пребывал в заблуждении, что оторвался от своих сородичей, но время показало, что я не лучше, а в чем-то еще и хуже их, раз при моей способности видеть гораздо дальше, чем это было доступно им, я все же оказался не в состоянии изменить свою жизнь. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, я ничего не делал по собственному волеизъявлению — вечно на меня кто-нибудь давил. Многие считали меня человеком авантюрным — трудно вообразить что-либо более далекое от истины. Мои авантюры всегда были случайными, всегда навязывались мне, всегда скорее принимались, чем предпринимались. Я плоть от плоти того гордого хвастливого нордического племени, которое ничего не смыслило в авантюрах и все же рыскало по земле, переворачивая ее вверх дном, всюду сея гибель и разорение. Мятажные духи, но только не авантюрные. Агонизирующие духи, неспособные жить настоящим. Презренные трусы — все как один, и я в их числе. Ибо существует лишь одна грандиозная авантюра — путешествие к сокровенным глубинам своего «я», и для нее ни время, ни пространство, ни даже подвиги не имеют значения.

Раз в несколько лет я оказывался на пороге этого открытия, но в присущей мне манере всегда умудрялся в последний момент пойти на попятный. Пытаясь подыскать подходящее оправдание, я никак не могу отделаться от мысли о той обстановке, что меня окружала, об улицах, которые я знал, и о людях, обитавших на этих улицах. Трудно представить, чтобы хоть одна из американских

улиц или кто-то из живущих на такой улице людей могли вывести человека на путь познания своего «я». Мне приходилось бродить по улицам многих стран мира, но нигде я не чувствовал себя таким униженным и задвленным, как в Америке. Такое впечатление, что все улицы Америки соединены между собой, образуя один гигантский отстойник, отстойник духа, куда засасывается и откуда высасывается все, вплоть до нетленного говна. Над этим отстойником, размахивая магическим жезлом, витает дух работы, и по мановению этого жезла то тут, то там возникают дворцы и фабрики, военно-промышленные комплексы и химические комбинаты, сталепрокатные станы и санатории, тюрьмы и приюты для душевнобольных. Весь континент — это сплошной кошмар, порождающий грандиознейшую нищету в грандиознейших масштабах. Я был уникам, единственный реальный субъект среди этой грандиозной арлекинады счастья и изобилия (статистического счастья, статистического изобилия), правда я не встречал еще человека, который был бы заведомо счастлив, заведомо богат. Про себя-то я знал, что ни счастлив, ни богат, ни себе не гош, ни людям не пригош. В чем и состояло мое единственное утешение, моя единственная радость. Но вряд ли этого было достаточно. Было бы лучше — и сердцу и уму, — если бы я открыто выразил свой бунт, если бы пошел ради этого на плаху, если бы сгнил и сгинул в тюрьме. Было бы лучше, если бы я, подобно безумному Чолгошу, пристрелил какого-нибудь славного, доброго президента Мак-Кинли или загубил другую, такую же кроткую, неприметную душу, в жизни не обидевшую даже мухи. А все потому, что в глубине моей души сидел убийца: я жаждал увидеть Америку поверженной во прах, до основания стертой с лица земли. Я хотел увидеть, как это произойдет, исключительно из мести, во искупление преступлений, что совершались против меня и мне подобных, так и не осмелившихся

возвысить свой голос, выплеснуть свою ненависть, свой бунт, свою законную жажду крови.

Я был порочным порождением порочной почвы. Не будь душа нетленна, мое «я», о котором я тут распинаюсь, давным-давно приказало бы долго жить. Возможно, иные сочтут это досужими домыслами, но все, что происходило в моем воображении, происходило и на самом деле. *По крайней мере, со мной.* История может отрицать это, поскольку я не сыграл никакой роли в жизни моего народа, но — пусть мои суждения ложны, вздорны, пристрастны, предосудительны, пусть даже я лжец и отравитель — тем не менее это правда, и придется ее проглотить.

Да, так о том, что произошло...

Все, что происходит, если оно исполнено глубокого смысла, несет в себе противоречие. До встречи с той, ради кого это пишется, я всерьез полагал, что разгадка всех вещей кроется где-то вовне — в жизни, как говорится. Я вообразил, когда на нее наткнулся, что хватаюсь за жизнь, за нечто такое, во что мог бы впиться зубами. Вместо этого я окончательно оторвался от жизни. Я искал, к чему бы приткнуться, — и не находил. Но, хотя в этом стремлении, в этой попытке нащупать, схватить, зацепиться я и остался ни с чем, кое-что я все-таки нашел. Я нашел то, чего не искал, — *самого себя*. Я понял, что всю свою жизнь я мечтал не жить — если жизнью считается то, что делают другие, — а выразить себя. Я осознал, что у меня не было ни малейшего интереса к жизни, меня интересовало лишь то, чем я занят сейчас, — то, что параллельно жизни, что ей присуще и в то же время лежит вне ее пределов. Меня вовсе не интересует, что есть истина; что есть реальность — и подавно; единственное, что меня интересует, — это то, что происходит в моем воображении, то, что я ежедневно заглушал в себе, чтобы жить. Умру я сегодня или завтра, не имеет для меня ни-

какого значения — никогда не имело, но то, что даже сегодня, после стольких лет усилий, я не в состоянии высказать, что я думаю и чувствую, — вот что не дает мне покоя, вот что отравляет мне душу. С самого детства, сколько себя помню, иду я по следу этого призрака, ничему не радуясь, ни о чем не мечтая, кроме этой вот силы, этого дара. Все остальное ложь — все, что я когда-либо делал или говорил, исходя из иных предпосылок. А это чуть ли не большая часть моей жизни.

Я представлял собой, как говорится, сущее противоречие. Меня считали то серьезным и надменным, то веселым и беспечным, то искренним и честным, то халатным и бесшабашным. Я был всеми сразу, а кроме того, кое-чем еще, о чем никто даже не подозревал, и меньше всего я сам. Мальчишкой лет шести-семи я любил, забравшись на портновский верстак деда, читать ему, пока он шил. Я живо помню его в те мгновения, когда, разутюживая шов пальто, он застывал, прижимая раскаленный утюг обеими руками и мечтательно глядя в окно. Выражение его лица, когда он стоял так и грезил, я помню гораздо лучше, чем содержание книг, которые мы читали, чем разговоры, которые мы вели, чем игры, в которые мы играли на улице. Мне всегда было интересно, о чем он мечтал, что именно выманивало его из недр самого себя. Тогда я еще не знал, что можно грезить наяву. Я всегда был прозрачен, целостен, сиюминутен. Меня зачаровывала его способность грезить. Я понимал, что он терял всякую связь с тем, чем был занят, всякую мысль о каждом из нас, словно оставался наедине с собой и наедине с собой обретал свободу. Мне никогда не доводилось бывать наедине с собой и меньше всего — когда я оставался один. Всегда будто бы кто-то незримо присутствовал рядом: я ощущал себя крошечной крупницей гигантского сыра, каким, вероятно, представлялся мне мир, — впрочем, я и

по сей день вижу его таким. Но я точно знаю, что никогда не существовал как нечто самостоятельное, то есть никогда не считал себя гигантским сыром. Так что даже когда у меня был повод жаловаться, плакать, чувствовать себя несчастным, я сохранял иллюзию причастности ко всеобщему, вселенскому горю. Если я плакал, значит плакал весь мир — так я себе это представлял. Плакал же я довольно редко. И вообще был счастлив, смешлив и доволен жизнью. Жизнью я был доволен потому, что, как я уже говорил, мне и правда все было по хую. У меня все плохо — значит, и везде все плохо, в этом я был глубоко убежден. А плохо бывает обычно лишь тогда, когда все слишком близко принимаешь к сердцу. Это отложилось в моем сознании довольно рано. Взять хотя бы случай с моим другом детства Джеком Лоусоном. Целый год он был прикован к постели, страдая от изнуряющей боли. Джек был моим лучшим другом — по крайней мере, так считалось. Да, поначалу я, наверное, жалел его и, может, даже от случая к случаю заходил к ним домой справиться о его здоровье; но по прошествии одного-двух месяцев я совершенно очерствел к его страданиям. Пора бы ему умереть, сказал я себе, и чем скорее, тем лучше, а рассудив таким образом, я и поступил соответственно: то есть вскоре я и думать о нем забыл, бросил на произвол судьбы. Тогда мне было всего двенадцать лет, и я помню, как гордился своим решением. Помню и сами похороны — ну и позорище! Друзья, родственники — все были там: все сгрудились у гроба, и все ревели, как стадо сумасшедших обезьян. Особенно мамаша меня раздражала. На редкость возвышенное создание — сторонница «Христианской науки», не иначе; она не верила ни в болезнь, ни в смерть, но развела такую вонь, что, пожалуй, сам Иисус восстал бы из гроба. Только не ее ненаглядный Джек! Нет, Джек лежал холодный как лед, суровый и неприступный. Он был мертв — двух мнений тут быть не может. Я это

понял и обрадовался. Ни слезинки на него не потратил. Я бы не сказал, что он оказался в лучшем мире, потому что в конечном счете его «я» исчезло. *Он* ушел, а с ним и его страдания, и страдания, которые он невольно причинял другим. «Аминь!» — сказал я себе и тут же, будучи в легкой истерике, громко пукнул — прямо у самого гроба.

Что за идиотская манера принимать все близко к сердцу! Помнится, однажды я и сам чуть не влип — это когда впервые влюбился. Но я и тогда не особенно переживал. Если бы я и в самом деле переживал, то не сидел бы здесь теперь и не писал бы все это: я бы давно умер от разрыва сердца или же болтался в петле. То был не лучший опыт, ибо он научил меня жить во лжи. Он научил меня улыбаться, когда не хотелось улыбаться, работать, когда не верилось в работу, жить, когда дальше жить было незачем. И хотя я ее забыл, привычка делать то, в чем я не видел смысла, сохранилась у меня надолго.

Как я уже говорил, изначально это был сплошной хаос. Но порой меня заносило так близко к центру, к самому сердцу этой кутерьмы, что только чудом не разнесло на куски все, что меня окружало.

Принято все валить на войну. Заявляю, что меня, моей жизни война не коснулась никаким боком. В то время как другие добывали себе престижные должности, я менял одну жалкую работенку на другую и ни на одной не держался столько, сколько требовалось, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Не успевали меня зачислить в штат, как я получал увесистый пендель. Я обладал незаурядным умом, но внушал недоверие. Где бы я ни появлялся, я всюду разжигал смуту — не оттого, что был идеалистом, просто я, как прожектор, выставлял на всеобщее обозрение глупость и нелепость происшедшего. Кроме того, я не отличался усердием лизать задницы. Вероятно, это наложило на меня клеймо. По мне сразу можно было сказать, когда я справлялся о работе, что

мне начхать, получу я ее или нет. И разумеется, в большинстве случаев я ее не получал. Правда, со временем сам поиск работы превратился в своего рода деятельность, в приятное, так сказать, времяпрепровождение. Куда я только не заходил, на что только не нарывался! Это был один из способов убивать время — не более скверный, как выяснилось, чем сама работа. Я был сам себе босс и сам себе устанавливал рабочий день, но, в отличие от других боссов, мне грозило лишь мое собственное разорение, мое собственное банкротство. Я не был ни трестом, ни корпорацией, ни государством, ни федерацией и ни конфедерацией наций — более всего я был подобен Богу, если уж на то пошло.

Это продолжалось примерно с середины войны до... ну да, до того самого дня, когда я угодил в капкан. Мне позарез понадобилась работа — без нее мне хана. Время поджимало, и я решил, что соглашусь на самую заштатную должность на свете — мальчиком на побегушках. К концу рабочего дня я отправился в бюро по найму телеграфной компании — Североамериканской Космодемонической Телеграфной Компании, готовый к тому, что уж здесь-то меня примут. Я как раз вышел из публичной библиотеки и нес под мышкой пару томов по экономике и метафизике. К моему вящему изумлению, в работе мне было отказано.

Парень, который меня завернул, был какой-то мелкой сошкой на коммутаторе. Похоже, он принял меня за студента колледжа, хотя из моей анкеты было вполне ясно, что я уже далеко не школьник. В анкете я даже присвоил себе степень доктора философии Колумбийского университета. По всей видимости, это прошло незамеченным или же вызвало подозрение у хлыща, что меня забраковал. Я впал в бешенство, тем более что это был тот единственный случай в моей жизни, когда я не кривил душой. Как бы то ни было, я проглотил свою гордость, каковая

в особых конкретных случаях бывает непомерно велика. Моя жена, разумеется, выдала мне обычную порцию язвительных взглядов и едких насмешек. С моей стороны это был всего лишь жест, заявила она. Я лег спать, думая об этом и не переставая испытывать жгучую боль, распляясь все больше и больше по мере того, как ночь шла на убыль. То обстоятельство, что у меня были жена и ребенок, коих я обязан содержать, не причиняло мне особого беспокойства; работу предлагают не потому, что у тебя есть семья, которая нуждается в поддержке, — это я понимал как нельзя лучше. Нет, мучительно было то, что они отвергли *меня*, Генри В. Миллера, личность высшего типа, блестяще образованного человека, покусившегося на самую заштатную работенку на свете. Это меня испепеляло. Я не мог с этим смириться. Утром я встал рано, с ясной головой; побрился, надел свой лучший костюм и помчался в подземку. Я двинулся прямо в главное здание телеграфной компании... взлетел на 26-й или какой там этаж, где находились гнездовья президента и вице-президента. Я потребовал встречи с президентом. Разумеется, президента то ли вообще не было в городе, то ли он был слишком занят, но какая мне разница, примет меня президент, вице-президент или пусть даже секретарь вице-президента. Принял меня секретарь — вроде как интеллигентный воспитанный тип, ну я и забил ему баки. У меня это лихо вышло, без излишней запальчивости, хотя я то и дело давал ему понять, что не так-то просто от меня отделаться.

Когда он снял трубку и потребовал генерального директора, я подумал, что это только для отвода глаз и что они собираются отфутболивать меня от одного к другому, пока не отвяжусь. Но как только я услышал, каким тоном он с ним говорит, я изменил свое мнение. Когда я добрался до канцелярии генерального директора, а она располагалась в другом здании в жилых кварталах города, меня

там уже ждали. Я уселся в уютное кожаное кресло и угостился одной из больших сигар, которые мне учтиво пододвинули. Этот тип сразу же проявил живой интерес к моему делу. Он захотел, чтобы я рассказал ему все до мельчайших подробностей; его большие волосатые уши встали торчком, чтобы не упустить ни крупинцы сведений, способных подтвердить ту или иную версию, множество которых варилось в его котелке. Я понял, что нечаянно сделался полезен ему в оказании какой-то услуги. Я позволил себе пойти у него на поводу, чтобы вписаться в его умопостроения, не переставая, однако, держать нос по ветру. По мере того как развивалась беседа, я заметил, что он проникается ко мне все большим и большим участием. Наконец-то хоть кто-то выказал мне малую толику доверия! Этого было достаточно, чтобы я смог оседлать одного из своих любимых коньков. Ибо после многих лет охоты на работу я, естественно, овладел кое-какими премудростями: я знал не только чего *нельзя* говорить, но и где поддакнуть, что подвергнуть сомнению. Вскоре был вызван помощник генерального директора, и его попросили выслушать мою историю. К тому времени я уже знал, что это будет за история. Я понял, что Хайме, «этот маленький поцка», как называл его генеральный директор, формально не имел права выдавать себя за управляющего по кадрам. Хайме узурпировал его прерогативу — это было ясно как день. Ясно было и то, что Хайме — еврей, а евреи были не в чести ни у генерального директора, ни у мистера Твиллигера, вице-президента, который, в свою очередь, сидел бельмом в глазу генерального директора.

Возможно, как раз Хайме, «поц пархатый», и был в ответе за высокий процент евреев в армии почтовиков. Возможно, как раз Хайме-то и осуществлял набор служащих в бюро по найму — в Доме Заходящего Солнца, как его называли. Это была, по моему разумению, блестящая воз-

можность для мистера Кленси, генерального директора, устранить некоего мистера Барнса, который, как он пояснил, уже лет тридцать служил управляющим по найму и, очевидно, стал с ленцой относиться к службе.

Совещание длилось несколько часов. Под конец мистер Кленси отвел меня в сторонку и сообщил, что собирается назначить *меня* боссом по труду. Прежде чем ввести меня в должность, он, однако, намерен просить меня в знак особого расположения, а заодно и будто бы для практики, каковая, несомненно, пойдет мне на пользу, поработать в качестве посыльного по особым поручениям. Я буду получать зарплату управляющего по найму, но выплачивать мне ее будут по особому счету. Короче, мне вменялось в обязанность фланировать от ведомства к ведомству и наблюдать за тем, как ведутся дела в каждом в отдельности и во всех разом. Мне вменялось в обязанность время от времени подавать краткий рапорт о том, где что происходит. И время от времени — таково было его пожелание — я должен был заходить к нему домой накоротке, чтобы потолковать о состоянии сотни и одного отделения Космодемонической Телеграфной Компании в Нью-Йорк-Сити. Другими словами, в течение нескольких месяцев мне предстоит быть осведомителем, после чего мне передадут управление персоналом. А ну как меня однажды назначат генеральным директором, а там, глядишь, и вице-президентом! Предложение выглядело соблазнительным, пусть даже и было изрядно вываляно в конском навозе. Я сказал ДА.

Через несколько месяцев я сидел в Доме Заходящего Солнца и вершил прием и увольнение, как сам сатана. Это была сущая бойня, Господь свидетель. Бессмысленная жестокость от начала и до конца. Пустое разбазаривание людей, имущества и сил. Гнусный фарс на фоне пота и слез. Но раз уж я принял осведомительство, то принял и перегонку кадров, а стало быть, и все, что этому сопут-

ствовало. Я сказал ДА на все. Если вице-президент отдавал распоряжение не увольнять хромых, я не увольнял хромых. Если вице-президент говорил, что все посыльные старше сорока пяти подлежат увольнению без предупреждения, я увольнял их без предупреждения. Я выполнял все, что мне предписывалось, но делал это так, что они сами вынуждены были за все расплачиваться. Когда случалась забастовка, я сидел сложа руки и ждал, пока ее не пронесет. В первую очередь я рассматривал забастовки с той точки зрения, в какую уйму денег выльются они компании. Вся система была до того прогнившей, до того бесчеловечной, до того безнадежно расшатанной и недоступной пониманию, что понадобился бы гений, чтобы вложить в нее хоть крупицу смысла и порядка, не говоря уже о человеческой доброте или там уважении. Я восстал против всей трухлявой американской системы труда, которая загнивала с обоих концов. Я был пятой спицей в колеснице, и, как ни крути, не было мне иного применения, кроме как служить пешкой в чужой игре. Пешками фактически были все: президент со своей командой — для скрытых властных структур, служащие — для чиновников и так далее по кругу, вглубь и вширь до бесконечности, независимо от занимаемых должностей. Из своего маленького гнездышка в Доме Заходящего Солнца я обозревал все американское общество с высоты птичьего полета. Как бы разглядывая страницу из телефонной книги. С точки зрения алфавита, нумерации, статистики она не лишена смысла. Но когда тщательно ее пролистаешь, когда изучишь каждую страницу в отдельности, каждую букву в отдельности, когда изучишь одного отдельно взятого индивида и его содержимое, изучишь воздух, которым он дышит, жизнь, которую он ведет, ставки, которые он делает, то увидишь нечто столь мерзкое и гнусное, столь ничтожное, столь жалкое, в такой степени безнадежное и бессмысленное, что лучше сунуть нос в кратер

вулкана. Таков был американский образ жизни во всех его аспектах: экономическом, политическом, нравственном, духовном, артистическом, статистическом, патологическом — словно огромный шанкр на потасканном члене. Пожалуй, еще и хуже, ибо где теперь найдешь то, что хотя бы отдаленно напоминало член? Может быть, в прошлом эта штукавина и давала жару, даже кое-что производила, доставляла, на худой конец, сиюминутное наслаждение, сиюминутную радость. Но оттуда, где я восседал, открывалось зрелище куда более омерзительное, нежели кишащий червями сыр. Удивительно, как только их не снесло волной исходящего от них зловония... Я тут употребляю прошедшее время, но, разумеется, и сейчас картина та же, а то, пожалуй, и хуже. Во всяком случае, нам этой вони сейчас за глаза и за уши.

К тому времени, как на сцене появилась Валеска, через мои руки прошло несколько легионов посыльных. Мой кабинет в Доме Заходящего Солнца был чем-то вроде открытого канализационного стока, да и вонял не меньше. Я окопался в траншее на передовой, куда приходился основной поток вони со всей округи. Начать с того, что человек, которого я подселел, умер от разрыва сердца спустя пару недель после моего появления. Он продержался именно столько, сколько требовалось, чтобы я успел войти в курс дела, и тут же дал дуба. События развивались так стремительно, что я не удосужился испытать чувства вины. С той минуты, как я приступил к работе, моя жизнь превратилась в сплошной ад крошечный. За час до моего появления — а я всегда опаздывал — приемная была уже битком набита желающими получить работу. Я был вынужден локтями пробивать себе путь, поднимаясь по лестнице, и буквально идти на таран, чтобы пробраться к своему столу, который находился по другую сторону «баррикады». Не успев снять шляпу, я уже должен был ответить на дюжину телефонных звонков.

У меня на столе стояли три телефонных аппарата, и все трезвонили одновременно. Уссышься от их истошного дребезжания, прежде чем сядешь за работу. Не было даже времени пойти посрать — так и терпи до пяти-шести вечера. Хайме приходилось еще хуже, так как он был прикован к коммутатору. Он сидел за ним с восьми утра до шести вечера, тасуя наряды. Каждый наряд — это отдельный посыльный, который предоставлялся одним филиалом другому на день или часть дня. Ни в одном из сотни и одного филиала штат не был укомплектован полностью; Хайме был вынужден колдовать над нарядами, пока я вкалывал как безумный, латая бреши. Если мне каким-то чудом и удавалось заполнить все вакансии за день, то на следующее утро в лучшем случае все повторялось по новой. Наверное, только двадцать процентов персонала были постоянными, остальные — текучка. Постоянные выживали новичков, не давали им ходу. Постоянные зарабатывали от сорока до пятидесяти долларов в неделю, но бывало, и шестьдесят—семьдесят, а то и все сто, что, следует заметить, гораздо больше, чем перепало делопроизводителям, а порой и их непосредственному начальству. Что касается новичков, то им сложно было заработать и десять долларов в неделю. Иные из них сбегали, не проработав и часа, нередко выбрасывая пачку депеш в мусорный ящик или спуская в сортир. При этом, сколько бы они ни проработали, жалование они требовали выплачивать незамедлительно, что было невозможно из-за сложного бухгалтерского учета, который велся таким образом, что раньше чем дней через десять, если не больше, нельзя было определить, кто из посыльных сколько заработал. По неопытности я приглашал каждого посетителя присесть и объяснял ему все в деталях. Я поступал так до тех пор, пока не потерял голос. Вскоре я приспособился беречь силы, поджаривая страждущих на медленном огне, без чего было не обойтись.

Для начала каждый второй парнишка оказывался прирожденным вралем, если не отъявленным мошенником. Многие из них были уже уволены-переуволены несчетное число раз. Другие видели тут отличную возможность подыскать новую работу, потому что по долгу службы их заносило в сотни таких заведений, куда сами бы они не сунулись ни ногой. К счастью, Макговерн, который стоял на страже и выдавал бланки заявлений, был тертый калач и обладал фотографической памятью. И потом, позади меня высились кипы гроссбухов, хранившихся досе на каждого, кому когда-либо довелось пройти суровую школу жизни. Эти гроссбухи мало чем отличались от полицейских протоколов: они пестрели красными пометками, обозначающими то или иное правонарушение. По свидетельству очевидцев, я был помечен как преступный элемент. Каждое второе имя в списке сопровождалось пометкой «воровство», «мошенничество», «драка» либо «умственная отсталость», «извращения», «идиотизм». «Осторожно: такой-то эпилептик!» «Этого не брать — он ниггер!» «Будьте бдительны: Икс отбывал в Даннеморе. А то и в Синг-Синге».

Будь я поборником этикета, компания вообще осталась бы без посыльных. Я должен был с ходу определять, кто есть кто, — и не из записей, не от сотрудников, а исходя из собственного опыта. О просителе можно было судить по тысяче факторов — мне приходилось, не мешкая, учитывать все разом, так как за один короткий день, даже если оформлять их не глядя, все равно успеешь нанять ровно столько-то, и ни одним больше. И в каком бы количестве я их ни набирал, их вечно не хватало. На следующий день все по новой. Иные, по моим понятиям, не продержались бы и суток, но я все равно вынужден был их принимать. Система была неразумна от начала до конца, но не моя это забота — критиковать систему. Моя забота — принять-уволить, уволить-принять. Я находился

в центре крутящегося диска, который вращался с такой скоростью, что не было никакой возможности положить этому конец. Что было нужно, так это механик, но, согласно логике верховных воротил, механизм работал исправно, все было прекрасно и безупречно, разве что по ходу дела возникали временные неполадки. А раз по ходу дела возникали временные неполадки, то тут вам и эпилепсия, и воровство, и вандализм, и извращения, и черномазые, и жидаы, и проститутки, и прочая дребедень, включая забастовки с локаутами. И тогда, в соответствии с этой самой логикой, вы брались за большую метлу и давай дочиста выметать конюшни или же хватали ружья и дубинки и давай вколачивать мозги несчастным идиотам, страдавшим от заблуждения, что все в этом мире не так. Полезно было иной раз потолковать о Боге или попеть немного хором, — время от времени, может, даже позволялось прибегнуть и к премии, то есть когда становилось так худо, что слова уже не помогали. Главное — поддерживать процесс перегонки кадров: пока имелись кадры и боеприпасы, мы должны были двигаться вперед и зачищать окопы. Тем временем Хайме продолжал принимать слабительное, причем в таком количестве, от которого могло бы вдребезги разнести его хвостовой отсек, если бы хвостовой отсек у него имелся, но такового у него давно не было, — он только сочинял, что дрищит напропалую, только сочинял, что не слезает с горшка. В действительности же несчастный содомит был в трансе. Ему приходилось опекать сотню и один филиал, а в каждом — целый штат посыльных, который оставался мифическим, если не гипотетическим, и, независимо от того, были посыльные реальными или мнимыми, телесными или бестелесными, Хайме приходилось тасовать их с утра до ночи, пока я латал дыры, которые были столь же эфемерны, ибо кто мог сказать наверняка, отправляя новичка с поручением в какое-нибудь учреждение, прибудет он туда

сегодня, завтра или никогда. Кто-то из них мог заблудиться в подземке или в лабиринтах небоскребов; кто-то целыми днями гонял по линиям надземки — ведь благодаря униформе можно было ездить бесплатно, а им вряд ли когда выпадала такая радость — целый день прогонять по надземке. Одни стартовали в Стейтен-Айленде и финишировали в Канарси или в коматозном состоянии доставлялись полицейскими назад. Другие забывали, где они живут, и исчезали с концами. Третьи, которых мы вербовали для Нью-Йорка, оказывались месяц спустя в Филадельфии, будто это было в порядке вещей и не противоречило правилам игры по Хойлю. Четвертые охотно отправлялись по назначению, а на полпути соображали, что легче продавать газеты, и охотно продавали газеты — прямо в нашей униформе, — пока их не отлавливали. Пятые прямым ходом шли в полицейский участок, повинаясь какому-то непостижимому инстинкту самосохранения.

По утрам, добравшись до рабочего места, Хайме первым делом точил карандаши; он точил их с религиозным фанатизмом, не отвлекаясь на телефонные звонки, сколько бы они ни трезвонили, потому что, как он мне потом объяснил, если не заточить карандаши с утра, они так и останутся незаточенными. Затем он выглядывал в окно посмотреть, что с погодой. После чего свежезаточенным карандашом отчеркивал маленький квадратик на грифельной доске, которую всегда держал под рукой, и заносил в него сводку погоды. Когда-нибудь, о чем он мне тоже поведал, это может обернуться полезным алиби. Если толщина снежного покрова достигала одного фута или на улице было слишком слякотно, то ведь и самому дьяволу, пожалуй, простили бы, что он тасует наряды не слишком проворно, а управляющему по найму, выходит, и подавно простили бы, что он в такие дни не затыкает дыры, правильно? Но почему, заточив карандаш, он,

вместо того чтобы пойти продристаться, садился корпеть над коммутатором, оставалось для меня загадкой. Позже он и это мне объяснил. Как бы то ни было, день вечно ломался из-за неразберихи, жалоб, запора и вакансий. Он и начинался с того же трубного вонючего пердежа, дурного запаха изо рта, измотанных нервов, падучей, менингита, низкого жалованья, просроченных платежей, стоптанных башмаков, мозолей и омозолелостей, плоскостопия и разбитых ступней, недочитанных книжек, забытых и похеренных авторучек, плавающих в канализационных стоках депеш, угроз вице-президента и советов директоров, пререканий и разборок, ливней и поврежденных проводов, новых методов воздействия и старых, давно сброшенных со счетов, с надежды на лучшие времена и мольбы о премии, которой хрен дождешься.

Христианская ассоциация молодых людей, которой неймется улучшить моральный облик молодых рабочих во всей Америке, в полдень устраивает митинг, так не буду ли я любезен отправить парочку лоботрясов послушать пятиминутную лекцию Уильяма Карнеги Астербильда-младшего о долге службы? Мистер Мэлори из Лиги взаимопомощи интересуется, не мог бы я как-нибудь уделить ему несколько минут, чтобы он рассказал мне об образцовых заключенных, освобожденных под честное слово, которые рады были бы служить в любом качестве, даже посыльными. Миссис Гуггенхоффер из Еврейского благотворительного общества была бы весьма признательна, если бы я согласился помочь ей в оказании поддержки нескольким нуждающимся семействам, которые находились в бедственном положении, так как все члены семей либо недееспособны, либо калеки, либо инвалиды. Мистер Хагартти из Приюта для беспризорников выражает уверенность, что у него есть подростки как раз для меня, вот бы я дал им шанс: с каждым из них дурно обращались либо отчимы, либо мачехи. Мэр

Нью-Йорка был бы весьма признателен, если бы я принял под личную опеку «подателя сего письма», за коего он ручается во всех отношениях, — но почему бы ему самому, черт побери, не позаботиться о «сем подателе», оставалось тайной. Мужчина, склонившийся над моим плечом, протягивает мне клочок бумаги, на котором он только что написал: «Мне понимать все но нет слышать голоса». Рядом с ним в драном, заколотом английскими булавками пальто стоит Лютер Уинифред. Лютер на две седьмых чистокровный индеец, а на пять седьмых — германо-американец: вот чудеса! По индейской линии он Ворон — один из монтанских Воронов. Последняя его работа состояла в натягивании полотняных навесов над витринами магазинов, но поскольку из-за отсутствия зада на нем плохо сидят штаны, он стесняется залезать на лестницу на виду у дам. Он только позавчера из госпиталя и пока что слабоват, но вполне способен доставить депешу — так ему кажется!

Да, еще Фердинанд Миш — как же я про него забыл! Он все утро прождал своей очереди, чтобы перекинуться со мной парой слов. Я никогда не отвечал на его письма. «Разве я заслужил?» — спрашивает он мягко. Нет, конечно. Я смутно помню его последнее письмо, посланное им из ветлечебницы для кошек и собак на Гранд-Конкорс, где он служил санитаром. Он писал, что раскаивается в том, что ушел с работы, — «но это все из-за отца, который был слишком строг и не позволял никаких развлечений и удовольствий на стороне». «Мне уже двадцать пять лет, — писал он, — и я не считаю, что обязан продолжать спать с отцом, а вы? Я знаю, по слухам, вы весьма любезный джентльмен, а я сейчас самозависим, так что надеюсь...» Видавший виды Макговерн стоит возле Фердинанда и ждет, когда я подам ему знак. Ему не терпится дать Фердинанду под зад коленом — помнит еще, как пять лет назад Фердинанд вдруг завалился на бок

прямо перед главным зданием, причем в полной амуниции, и забился в эпилептическом припадке. Ну уж нет, говнюк, я так не могу! Дам я ему шанс, горемыке этому. Пошлю его в Китайский квартал: там хоть обстановка более-менее спокойная. Пока Фердинанд переодевается в задней комнате, у меня над ухом жужжит оставшийся без родителей подросток, который спит и видит «помочь компании добиться успеха», — мол, если я дам ему шанс, он каждое воскресенье будет за меня молиться в церкви — за исключением тех дней, когда ему нужно явиться к дежурному надзирателю. Оказывается, он ничего такого не совершил. Просто толкнул одного парня, а тот упал, ударился головой и убился насмерть. *Следующий*. Эксконсул с Гибралтара. Почерк у него красивый — подозрительно красивый. Я прошу его заглянуть ко мне в конце дня, — чем-то он мне не понравился. Тем временем в раздевалке Фердинанд начинает биться в припадке. Вот повезло-то! Случись это в подземке, при номерной фуражке и прочих регалиях, меня бы точно упекли куда подальше. *Следующий*. Однорукий жлобина, разъяренный тем, что Макговерн указал ему на дверь. «Какого дьявола! Я здоров как бык, и силы не занимать!» — орет он благим матом и в качестве доказательства хватает здоровой рукой стул и разбивает его вдребезги. Я возвращаюсь к столу, а там меня дожидается телеграмма. Вскрываю. От Джоржа Блейзینی, бывшего посыльного номер 2459 из юго-западного филиала. «Сожалею, что вынужден покинуть вас так скоро, но эта работа чужда моей натуре, а моя натура — этой работе. Я не выношу безделья и являюсь верным поклонником труда и бережливости, но дольше мы не в силах ни контролировать, ни подавлять наше личное достоинство». Вот говнюк!

Поначалу я взялся за дело с энтузиазмом, несмотря на давление сверху и поджимание снизу. У меня рождалась идея за идеей, и я осуществлял их, нравилось это вице-

президенту или нет. Каждую декаду или около того меня вызывали на ковер и отчитывали за то, что у меня «слишком большое сердце». В моем кармане никогда не водились деньги, но чужими деньгами я пользовался свободно. Поскольку я был шишкой, мне полагался кредит. Я раздавал деньги направо и налево; я раздавал свое белье и одежду, свои книги, все, что было лишнее. Если бы я обладал властью, то я бы и всю компанию роздал несчастным содомитам, от которых мне не было отбоя. Если у меня просили десятицентовик, я давал полтинник, просили доллар — я давал пять. Меня не ебло, сколько я отдавал, потому что легче было занять и отдать, чем отказать этим жалким бедолагам. Никогда в жизни не доводилось мне видеть такого скопища нищеты и, надеюсь, больше не доведется. Всюду люди терпят нужду — так было и так будет всегда. И эта ужасающая нищета исподволь подогревается пламенем, обычно таким слабым, что его почти незаметно. Но оно все же теплится, и, если у кого-нибудь хватит смелости попытаться его задуть, это может обернуться пожаром. Мне постоянно твердили, что нельзя быть слишком мягким, что нельзя быть слишком сентиментальным, что нельзя быть слишком щедрым. «Больше жесткости! Больше характера!» — предостерегали меня. «Хуй вам! — сказал я себе. — Все равно буду мягким, великодушным, терпимым, внимательным, щедрым». Поначалу я каждого выслушивал до конца; если я кому-то не мог предложить работу, я давал деньги, если у меня не было денег, я давал сигарету или просто подбадривал. Но я давал! Эффект был ошеломляющим. Никто не способен оценить результатов доброго поступка, доброго слова. Я утопал в благодарностях, в пожеланиях добра, в приглашениях и трогательных подарочках. Если бы я обладал реальной властью, а не торчал пятой спицей в колеснице, бог знает что бы я еще мог совершить. Возможно, я использовал бы Североамериканскую Космодемониче-

скую Телеграфную Компанию в качестве трамплина, чтобы привести все человечество к Богу; или преобразовал бы Северную и Южную Америки, вместе взятые, и доминион Канада в придачу. Секрет был у меня в руках: быть щедрым, добрым, терпеливым. Я работал за пятерых. Три года я почти не смыкал глаз. У меня не было ни одной целой рубашки, и порой я так стыдился просить денег у жены или совершать налет на детскую копилку, что, отправляясь утром на работу, обжуливал слепого газетчика у входа в подземку, дабы заплатить за проезд. Я одалживал столько денег, что, работай я двадцать лет без передышки, все равно не смог бы расплатиться сполна. Я брал у тех, кто имел, и давал тем, кто нуждался, и правильно делал: я поступил бы точно так же, случись мне еще раз оказаться в подобной ситуации.

Я даже совершил чудо приостановки сумасшедшей текучки кадров, чудо, на которое никто не смел и надеяться. Вместо того чтобы содействовать моим усилиям, мне ставили палки в колеса. Согласно логике верховных воротил сбой в текучке кадров произошел по причине слишком высокой оплаты труда. Вследствие чего они понизили заработную плату. Это все равно что рубить сук, на котором сидишь. Все здание трещало, рассыпалось у меня на глазах. А эти как ни в чем не бывало требовали латать бреши. Чтобы немного смягчить удар, мне по-свойски намекнули, что я мог бы несколько увеличить процентное содержание евреев, мог бы позволить себе то, се, пятое, десятое — все то, что по прежней инструкции шло вразрез с кодексом. Меня это так взбесило, что я стал принимать кого ни попадя; я без колебаний нанял бы и дикого американского пони или гориллу, если бы мог вдохнуть в них тот минимум интеллекта, который необходим, чтобы доставить депешу. Неделей раньше к концу дня оставалось пять или шесть вакансий. Теперь их стало триста, четыреста, пятьсот, — кадры утекали как песок

между пальцами. Это было восхитительно. Я сидел и, не задавая ни единого вопроса, набирал их вагонами — жидов, черномазых, калек, паралитиков, бывших каторжников, проституток, маньяков, дебилов — любого захуятого ублюдка, лишь бы он умел стоять на двух ногах и держать в руке телеграмму. Управляющие всех сотни и одного филиала были перепуганы до смерти. Я потирал руки. Я потирал руки на протяжении целого дня при мысли о том, какую славную жирную свинью я подложил. Жалобы валом повалили со всего города. Регулярность доставки нарушена, образовались заторы и торосы. Скорее ишак мог бы добраться куда следует, чем иные идиоты, которых я впряг в работу.

На следующий день гвоздем программы стало введение в штат посыльных женского пола. Что в корне изменило местную атмосферу. Для Хайме это был божий дар вместо яичницы. Он крутил свой коммутатор туда-сюда, чтобы видеть, как я манипулирую нарядами. Несмотря на то что работы прибавилось, у него была перманентная эрекция. Он приходил на работу с улыбкой и сохранял ее на протяжении всего дня. Он был на седьмом небе. За рабочий день у меня вырисовывался список из пяти-шести кандидатур, которых следовало как следует прощупать. Фокус состоял в том, чтобы держать их на привязи: пообещать работу, но для начала выебать за милую душу. Достаточно было только задать им корму, чтобы к ночи привести назад в контору и разложить прямо на оцинкованном столе в раздевалке. Если у кого-то из них была уютная квартирка — а такое тоже случалось, — мы провозжали их до дому и дело кончалось долбежкой. Если какая из них была не дура выпить, то Хайме на такой случай всегда имел при себе бутылочку. Если они были мало-мальски порядочными и в прямом смысле нуждались в куске хлеба, Хайме охотно извлекал свой пухлый бумажник и отстегивал пять или десять монет, смотря

по ситуации. Я исхожу слюной, вспоминая этот пресловутый бумажник, который он всегда носил с собой. Я понять не мог, откуда у него деньги, потому что он был самым низкооплачиваемым сотрудником в объединении. Но деньги у него не переводились, и, сколько бы я ни просил, он никогда не жидился. А однажды нам посчастливилось получить премию, и я вернул Хайме все до последнего пенни. Это так его потрясло, что вечером он взял меня с собой в «Дельмонико» и прокутил там целое состояние. Мало того, на следующий день он настоял на том, чтобы купить мне шляпу, рубашку и перчатки. Он даже намекнул, что я мог бы зайти к нему в гости и употребить его жену, если мне захочется, хотя, предупредил он, в настоящее время у нее что-то не в порядке с яичниками.

Кроме Хайме и Макговерна, у меня в помощниках были две красотки-блондинки, которые часто составляли нам компанию по вечерам. И еще О'Мара, мой старый друг, только что вернувшийся с Филиппин, — его я сделал своим главным помощником. Был еще Стив Ромеро, этакий бык-рекордист, которого я держал на всякий пожарный. И О'Рурк, местный детектив, — он отчитывался мне на исходе дня, заступая на службу. Под конец я взял в штат еще одного сотрудника — Кронского, молодого студента-медика, имевшего дьявольский интерес к случаям патологии, коих у нас было предостаточно. Все мы составляли лихую команду, объединенную одной страстью — набать компанию любой ценой. А набывая компанию, мы заодно ебли все, что попадалось на глаза или под руку; исключением среди нас был О'Рурк: ему полагалось блюсти честь мундира, и к тому же у него были проблемы с предстательной железой, так что он напрочь утратил интерес к ебле. Но О'Рурк был благороднейший из людей и несказанно щедр в придачу. Это О'Рурк водил нас иногда поужинать, именно к О'Рурку шли мы со своими бедами.

Так обстояли дела в Доме Заходящего Солнца к тому времени, как я оттрубил там два года. Я был пресыщен человеколюбием, напитан всякого рода опытом. В моменты отрезвления я делал кое-какие заметки, которые намеревался использовать, если у меня появится возможность написать собственные «опыты». Я ждал передышки. И вот однажды, когда меня вызвали на ковер за какую-то дурацкую провинность, вице-президент обронил фразу, которая встала мне поперек горла. Он сказал, что хотел бы найти кого-нибудь, кто написал бы о посыльных что-то вроде книги Горацио Элджера, и намекнул, что, кроме меня, этого, пожалуй, никому не осилить. Я впал в ярость — надо же, какой кретин! — и в то же время обрадовался, ибо втайне меня давно уже подмывало облегчить душу. Ну, думаю, погоди у меня, старый футцер, то-то будет, когда я облегчу свою душу... Я покажу тебе Горацио Элджера... Ну погоди! У меня голова шла кругом, когда я от него вышел. Я видел толпы мужчин, женщин и детей, прошедшие через мои руки; видел, как они рыдают, просят, умоляют, взывают, проклинаят, плюются, топают ногами, угрожают. Я видел следы, оставленные ими на дорогах, товарные поезда, в которые они вскакивали, лачуги, в которые они возвращались, разбросанное по полу мясо, родителей в лохмотьях, пустые угольные ящики, забитые раковины, запотевшие стены и между холодных бисерин влаги — безумные тараканьи бега; я видел, как они ковыляют, похожие на вертлявых гномов, как заваливаются на спину в эпилептическом припадке — с искривленным судорогой ртом, с пеной на губах, с подергивающимися конечностями; я видел, как расступаются стены и чума крылатым потоком прорывается наружу, видел верховных воротил с их чугунной логикой, ожидающих, когда ее пронесет, ожидающих, когда все уладится, ожидающих и ожидающих — в довольстве и неге, попыхивая, закинув ноги на стол, толстыми сига-

рами и поговаривая о том, что кое-где возникли временные неполадки. Я видел героя Горацио Эджера — мечту американского идиота, все выше и выше поднимающегося по служебной лестнице: из посыльного — в оператора, из оператора — в управляющего, из управляющего — в главу, из главы — в суперинтенданта, из суперинтенданта — в вице-президента, из вице-президента — в президента, из президента — в трестового магната, из трестового магната — в пивного короля, во всеамериканского Идола, денежного Кумира, кумира кумиров, прах праха, верх ничтожества, ноль целых и девяносто семь тысяч нолей в числителе и знаменателе. Ну, говнюки, сказал я себе, уж я представлю вам картинку, как двенадцать маленьких людей, нулей без десятичных знаков, без цифр, без одиночных чисел, двенадцать неистребимых червячков подтачивают основы вашего трухлявого здания. Я покажу вам Горацио Эджера, каким он предстанет в день, грядущий за Апокалипсисом, когда развеет последнюю вонь.

Из всех уголков земного шара стекались они ко мне в поисках содействия. Едва ли хоть одно племя, за исключением первобытного, осталось не представленным в этом шествии. Кроме айнов, маори, папуасов, веддов, лапландцев, зулусов, патагонцев, игоротов, готтентотов, туарегов, кроме вымерших тасманийцев, вымерших гримальдийцев, вымерших атлантыйцев, сквозь меня прошли представители почти всех пород, существующих в подлунном мире. Были два брата, по старинке остававшиеся солнцепоклонниками, два несторианца из старой ассирийской общины. Были два мальтийских близнеца с Мальты и потомок майя с Юкатана; было с десяток наших смуглых меньших братьев с Филиппин и несколько эфиопов из Абиссинии, были работяги из пампасов Аргентины и разорившиеся ковбои из Монтаны; были греки, латыши, поляки, хорваты, словенцы, рутенианцы, чехи, испанцы, валлийцы, финны, шведы, русские, датчане,

мексиканцы, пуэрториканцы, кубинцы, уругвайцы, бразильцы, австралийцы, персы, японцы, китайцы, яванцы, египтяне, африканцы с Золотого Берега и Берега Слоновой Кости, индусы, армяне, турки, арабы, немцы, ирландцы, англичане, канадцы и в изобилии — итальянцы и евреи. Был всего один француз, если память мне не изменяет, да и тот продержался часа три — не дольше. Было несколько американских индейцев, главным образом чероки, зато ни одного тибетца и ни одного эскимоса; я видел имена, о которых раньше не имел понятия, и почерки — от клинописи ассирийцев до изысканной, изумительно красивой каллиграфии китайцев. Я слышал, как выпрашивали работу бывшие египтологи, ботаники, хирурги, золотодобытчики, преподаватели восточных языков, музыканты, инженеры, врачи, химики, математики, мэры городов и губернаторы штатов, тюремные надзиратели, скотобойцы, дровосеки, моряки, устричные пираты, грузчики, клепальщики, дантисты, протезисты, художники, скульпторы, паяльщики, архитекторы, наркодельцы, абортмахеры, белые работорговцы, водолазы, кровельщики, фермеры, продавцы верхней одежды, ловчие, смотрители маяков, сводники, члены городского управления, сенаторы — всякая тварь поднебесная, и каждый из них, оставшись гол как сокол, выпрашивал то работу, то сигаретку, то на проезд, то *один только шанс, Христа ради, один только шанс!* Я увидел и узнал людей святых, если есть святые в этом мире; я встречался и говорил с учеными — пропойцами и трезвенниками; я выслушивал людей с искрой Божией в груди: они самого Господа Вседержителя могли бы убедить, что достойны получить еще один шанс, но только не вице-президента Космококковой Телеграфной Компании. Я сидел, прикованный к своему письменному столу, с быстротой молнии путешествуя по свету, и я узнал, что жизнь везде одна и та же — голод, унижение, порок, невежество, алчность, лихоим-

Содержание

<i>Лариса Житкова</i>	
«Я пою экватор», или Аутогония Миллера.....	5
ТРОПИК КОЗЕРОГА. Роман	17
Примечания. <i>Лариса Житкова</i>	429